

ЮРИЙ
КОВАЛЬ

*Самая лёгкая
лодка в мире*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Юрий Коваль

Самая лёгкая лодка в мире

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Коваль Ю. И.

Самая лёгкая лодка в мире / Ю. И. Коваль — «Азбука-Аттикус»,
— (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21656-3

Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, – золото нашей литературы, её золотой запас. Радость и лёгкость, весёлость и открытость прозы Юрия Коваля, её доходчивость до сердца читателя делают эту прозу не просто прозой, а незаменимым лекарством от самых страшных болезней, что как тень преследуют человека, – уныния, чёрствости, глухоты сердечной, душевной скудости. Читать Коваля весело. А там, где весело, обитает радость.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21656-3

© Коваль Ю. И.
© Азбука-Аттикус

Содержание

Александр Етоев. В конечном счёте – любовь[1]	6
Самая лёгкая лодка в мире. Повесть	10
Часть первая	10
Глава I. Морской волк	10
Глава II. Бамбук или граммофон?	12
Глава III. Провал	13
Глава IV. Ночное плавание	15
Глава V. Идея зарастает мохом	17
Глава VI. Писатель-путешественник	18
Глава VII. Отрезанная голова Орлова	19
Глава VIII. Время компота	21
Глава IX. Самая лёгкая лодка в Кашире	22
Глава X. Бейте и топчите!	23
Глава XI. Невеста под кроватью	25
Глава XII. Увядавший букет	27
Глава XIII. Бельмо в глазу	28
Глава XIV. «Люди в шляпах»	29
Глава XV. Самое лёгкое название в мире	31
Глава XVI. Самое лёгкое название в мире (Продолжение)	32
Глава XVII. Самое лёгкое название в мире (Окончание)	33
Глава XVIII. Самая близкая речка в мире	35
Глава XIX. Ловля Орлова на граммофонную удочку	37
Глава XX. Последний торт	40
Часть вторая	43
Глава I. Опасайтесь лысых и усатых	43
Глава II. Дождь в коровьем заливе	45
Глава III. Череп, разбитый молнией	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Юрий Иосифович Коваль

Самая лёгкая лодка в мире

© Ю. И. Коваль (наследники), 2022

© А. В. Етоев, предисловие, 2014

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014 Издательство
АЗБУКА®

Александр Етоев. В конечном счёте – любовь¹

Он был человек везучий.

В Московском пединституте, где Коваль учился с 1955 по 1960 год, ему повезло попасть в компанию вполне достойных людей. «Ну вот хотя бы – Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Пётр хотя бы Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лёшка Мезинов, ну Эрик Красновский...» Это я привожу цитату из маленькой автобиографической повести Ковалья «От Красных ворот».

Визбор возил мои книги из больницы в больницу в последние годы... И очень любил их читать друзьям. Я говорю: «Юрка, а ты чего читаешь?» Он говорит: «Я читаю рассказ „Анчутки“ из „Журавлей“». Я говорю: «Но там же есть опечатка». Он говорит: «Я заметил и всё переделал». – «А как ты переделал?» – «Да хрен знает, я, – говорит, – каждый раз по-своему переделываю, не помню уже точно как – как в голову придёт...»

Ещё ему повезло с природой. Она дала ему способные руки, одинаково хорошо умеющие работать с красками, глиной, деревом, любым материалом, годным для воплощения образов, которые рождает воображение или подсказывает окружающая натура. Коваль придумал даже целое направление в живописи – «шаризм», но, правда, был единственным его представителем.

Писать всерьёз Коваль стал в начале 60-х. Из татарского села Емельяново, где он три года отработал школьным учителем, в Москву Коваль вернулся с пачкой рассказов, и вот тут-то ему в очередной раз повезло. Начинающий писатель познакомился с Юрием Домбровским и показал ему один свой рассказ.

Домбровский пришёл в восторг. И отнёс мой рассказ в «Новый мир»... он называл мою прозу «жёстким рентгеном»...

Рассказ «Новый мир» отверг. Поначалу Коваль расстроился.

Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни писал, как бы прекрасно я ни написал – не напечатают. Ни за что.

Возможно, кто-нибудь спросит: какое же тут везение – рассказ-то не напечатали? Прямое, отвечу я. Оценка Домбровского дорогого стоит. Но даже не это главное. Главное, что он понял... Но об этом чуть позже.

Итак, Коваль расстроился, а потом успокоился и по совету друзей, Генриха Сапгира и Игоря Холина, смеху ради решил попробовать себя как детский поэт. Написал несколько детских стишков, Холин отнёс их в журнал «Огонёк», и там одно из стихотворений неожиданно для автора напечатали. Потом были стихотворные сборники в издательстве «Малыш». А потом была командировка от журнала «Мурзилка» на пограничную заставу.

Вернувшись от пограничников, Коваль сел за письменный стол, но почему-то не стал рифмовать слова, а взял и написал «Алого». Совершенно случайно, вдруг, – такое в литературе бывает.

Я совершенно случайно записал «Алого», и в этот момент поймал прозу за хвост... Вот что случилось со мной. Я наконец написал такую вещь, когда я определился и можно было сказать: это написал писатель Коваль.

¹ Цитаты, приведённые в предисловии (кроме особо оговорённых), взяты из интервью с Юрием Ковалём, опубликованного Ириной Скуридиной в журнале «Вопросы литературы» (№ 6 за 1998 год) и переизданного в сборнике памяти Юрия Ковалья «Ковалина книга» (М., 2008, 2013).

Это был не просто рассказ о подвигах пограничников, каких писалось в те годы много. Это был рассказ о собаке и человеке.

Было наплевать, советская это граница, несоветская граница, – важно было вот это: человек и собака, их любовь. Любовь была важна. В конечном счёте. Об этом и написана вещь.

После «Алого» он написал «Чистый Дор». Тогда-то и пришло понимание.

С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна...

Когда «Чистый Дор» был уже написан, он долго не мог определиться с названием.

«Вить (художник Виктор Белов. – А. Е.), если я назову книжку „Чистый Дор“, как тебе кажется?» Он сказал: «Это будет гениально». Я спрашиваю Кима: «Юлик – „Чистый Дор“?» Он говорит: «Все скажут „Чистый Двор“». Я говорю Борису Викторовичу Шергину: «Борис Викторович, название книги – „Чистый Дор“?» Он говорит: «Название гениальное, но все будут говорить „Чистый Вздор“».

После «Чистого Дора» Коваль написал «Приключения Васи Куролесова».

Здесь надо пару слов сказать об отце писателя. Иосиф Яковлевич Коваль всю жизнь провёл на милицейской работе. До войны он был начальником уголовного розыска города Курска, в войну работал в уголовном розыске Москвы, в отделе по борьбе с бандитизмом. Потом был назначен начальником уголовного розыска Московской области. В последние годы преподавал в Академии МВД.

Пожалуй, вся остросюжетная проза Юрия Коваля – будь то «Приключения Васи Куролесова», или «Пять похищенных монахов», или «Промах гражданина Лошакова» – ведёт начало от остросюжетной жизни его отца, который был «многократно ранен и прострелен».

Да и чувство юмора тоже.

Я думаю, что чувство юмора, мало свойственное моей маме, у отца было просто необыкновенным. И все мои книги он очень любил, и охотно их читал, и охотно их цитировал. Правда, при этом говорил: «Это, в сущности, всё я Юрке подсказал». Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии.

Ведь и капитан Болдырев, и сам Вася Куролесов – всё это были не просто с неба взятые персонажи. Это сыщики, когда-то работавшие вместе с его отцом.

После «Куролесова» писатель написал «Листобой», тонкий сборничек осенних миниатюр об охоте, о налимах, о листьях и о том, как не заблудиться в словах. Последнее важно знать – особенно человеку пишущему. Способ же не заблудиться в словах сродни способу не заблудиться в лесу. Надо снять с себя куртку, свитер, тельняшку. Вывернуть тельняшку наизнанку, потом надеть. В голове должно что-то перевернуться, и дорога к дому отыщется. То же самое при работе со словом – чувствуете, что заблудились в словах, разденьтесь, выверните тельняшку, точка-то и встанет на место, туда, где ей положено быть.

А потом Коваль написал «Недопёска» – «одну из лучших книг на земле». Так назвал эту книжку поэт Арсений Тарковский.

Арсений Саныч, прочтя книжку, пришёл в бешеный восторг. Он меня целовал, обнимал всячески, трогал мою руку и говорил всем встречным-поперечным, которые ничего не понимали: «Это Юра Коваль. Он „Недопёска“ написал...»

Белла (Ахмадулина. – А. Е.) потом прочла «Недопёска» и тоже рехнулась, она сошла с ума на этой почве. Она даже разговаривала голосом недопёска. То есть у неё был особый голос такой, она говорит: «Вы понимаете, каким голосом я с вами разговариваю?» Я говорю: «Каким?» Говорит: «Это голос недопёска»...

И вот что интересно. Лучшую книгу на земле вычеркнули из плана Детлита. Потом-то её снова включили, и книжка вышла, но поначалу её мурыжили – в основном по части идеологии. Главным в этом деле перестраховщиком был тогдашний детлитовский завглавред Борис Исаакович Камир.

Он говорит: «Юрий Осич, я же понимаю, на что вы намекаете». Я говорю: «На что?..» Искренне. Я говорю: «Я не понимаю на что. Он, конечно, стремится к свободе, на Северный полюс. Это же естественно. И я, скажем, свободолобивый человек». Он говорит: «Но вы же не убежали в Израиль». Я говорю: «Но я не еврей». Он: «Как это вы не еврей?» Я говорю: «Так, не еврей».

В общем, книгу Ковалю Камир зарубил. Оно понятно: 75-й год, отказники, эмигранты. Да и фамилия у завглавреда не Иванов. Небось не вычеркни Камир книжку из плана, подумали бы камировские начальники, что разводит он сионистскую пропаганду, агитируя за землю обетованную.

«Недопёску» помог отец. Пришёл в редакцию – в полковничьей форме, на голове фуражка, грудь в орденах плюс значок «Почётный чекист». Выразил свое недовольство. Отмёл намёки на замеченные намёки. Камир подумал, что отец Ковалья *оттуда*, и вставил книжку обратно в план.

А потом...

Потом дали по башке всему издательству и решили запретить – не «Недопёска», у которого, в сущности, тираж-то уже разошёлся... А следующую книжку. Это были «Пять похищенных монахов»...

За компанию с «Монахами» запретили ещё Успенского, его «Гарантийных человечков». За фразу «Долой порох, да здравствует творог!». СССР в тот момент как раз наращивал свои вооружённые силы. А с продуктами, наоборот, – шёл прижим.

Успенский, как человек активный, звонит Ковалю, они вдвоём пишут письмо в ЦК, собирается коллегия министерства, Успенского и Ковалья вызывают...

Мы некоторое время слушали, как один из идиотов, я забыл его фамилию, зачитывал рецензию на мою повесть «Приключения Васи Куролесова» и всячески её поносил...

Я думаю, что Успенский высидел минуты три. Не больше. Как вдруг, пока тот ещё читает свой доклад, Успенский вскочил грубо со словами: «Кого мы слушаем? Что за обормот? Что он несёт? Вы кто такой? Вы что, специалист по литературе?» И пошёл на него, попёр: «Да что вы читаете нам? Вы цитируете величайшую литературу в мире. Молчать. Скотина. Дурак. Идиот. Кто, где здесь Свиридов (в то время председатель Госкомитета по печати при Совете министров РСФСР. – А. Е.)? Свиридов, кто у вас работает? Он не может даже два слова связать. Он ударения неправильно ставит. Посмотрите, кто обсуждает Ковалья, кто обсуждает меня...» Я говорю: «Эдуард Николаич, присядь, давай всё-таки выслушаем». Это первая моя фраза была. Он сел – послушался... Этот чудак начинает снова читать. Эдик терпит – минуты две. Ну, минуту, примерно, терпит, потом вскакивает: «Коваль, ты что меня останавливаешь? Как я могу это слушать!..» Жаль, что не было видеокамеры...

Короче, отбили они и «Монахов», и «Человечков». Правда, там была замешана ещё и политика. За них был Сергей Михалков, ни Успенского, ни Ковалья не любивший, но приехавший вступить за тогдашнюю детлитовскую директорию.

Потом была «Кепка с карасями», у которой консультантом по художественному оформлению был сам Самуил Алянский, друг Блока, основатель знаменитого издательства «Алконост», человек исторический.

После «Монахов» и «Кепки» Коваль писал много. Рассказы детские, рассказы взрослые, шесть книг рассказов-миниатюр совместно с Татьяной Мавриной – Коваль писал, Маврина рисовала.

Одна из самых больших удач в промежутке между «Недопёском» и «Суером-Выером» – повесть «Самая лёгкая лодка в мире».

«С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой» – эту фразу, с которой начинается повесть, почему-то я вспоминаю часто, хотя в своём ленинградском детстве я мечтал совсем о другом.

Повесть почти что не редактировалась и вышла так, как была написана. Лишь во фразе «Какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени» цензор убрал выражение про скульптуры. Потому что перед входом в пединститут в те времена, про которые Коваль вспоминает, стояли каменные Ленин и Сталин.

«Лодку» Коваль писал 8 лет, столько же, сколько и «Недопёска». А кажется, она сделана в одночасье.

Теперь о «Полынных сказках».

Моя мама тогда очень болела, это были её предсмертные годы. А я её очень любил, и мне хотелось сделать для неё что-то. А что может сделать писатель – написать...

И Коваль пишет «Полынные сказки» – повесть, в основу которой легли рассказы матери.

Книгу хорошенько порезали, убрали всё мало-мальски связанное с религией, хотя никакого особого религиозного смысла в свою повесть Коваль не вкладывал.

После сказок были написаны «Промыслы гражданина Лошакова» из цикла про Васю Куролесова, повесть «Шамайка», но самая главная работа шла над «Суером-Выером», будущим романом-пергаментом.

«Суера-Выера» Коваль писал в общей сложности 40 лет, начиная с 55-го года. В 95-м роман был закончен.

Я думаю, что я написал вещь, равную по рангу и Рабле, и Сервантесу, и Свифту... Но могу и ошибаться же...

Это последняя его книга.

В 1995 году Юрия Ковалья не стало.

Самая лёгкая лодка в мире. Повесть

Часть первая

Глава I. Морской волк

С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой.

Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб блестел, чтоб прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали: «Это морской волк».

В соседнем дворе жил ударник Витя Котелок. Он не был ударником труда. Он был ударник-барабанщик. Он играл на барабанах в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние – железные.

Витя умел «кинуть брэк».

Перед началом кино оркестр играл недолго, минут двадцать, и наши ребята мучительно ожидали, когда же Витя «кинет».

Но Витя нарочно долго «не кидал».

Наконец в какой-то момент, угадав своим барабанным сердцем особую паузу, он говорил громко:

– Кидаю!

Оркестр замирал, и в полной тишине начинал Витя тихохонько постукивать палочкой по металлическому ободу барабана и вдруг взрывался, взмахнувши локтями. Дробь и россыпь, рокоты и раскаты сотрясали кинотеатр.

Витя Котелок подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке так, чтоб он светил через вырез воротника.

Я растёгивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу.

Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался.

По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели:

В нашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана...

Сумерки опускались на Москву и приносили с собой запах моря. Мне казалось, что в соседних переулках шумит прибой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движение волн.

Распахнув пошире воротник, я бродил по Дровяному переулку, сиял зубом в подворотнях. Порывы ветра касались моего лица, я чувствовал запах водорослей и соли.

Море было всюду, но главное – оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины.

В тот день, когда я пришил к майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком.

Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк, я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро.

Мало приходилось мне мореходствовать. Как-то две недели проболтался в Финском заливе на посудине, которая называется «сетеподъёмник», обошёл Ладожское озеро на барже под названием «Луза».

Шли годы, и всё меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в Дровяном переулке, ни в Зонточном.

– Выход к морю, – бормотал я про себя, гуляя по Яузе, – мне нужен выход к морю. Мне просто-напросто негде держать корабль. Вот Яуза – родная река, но попробуй тут держать корабль – невозможно. Мёртвый гранит, отравленные воды.

Каждый год собирался я в далёкое плаванье, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато, строить плот – громоздко.

– Купи резиновую лодку, – советовал старый друг художник Орлов.

– Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то своё, необычное.

– Сделай корабль из пустых бутылок. В каждую бутылку сунь по записке на случай крушения – и плыви!

Целый вечер сидели мы у Орлова в мастерской, что находится как раз у Яузских ворот, и придумывали корабли и лодки из разных материалов – птичьих перьев, разбитых гитар и даже членских билетов спортивного общества «Белая лебедь».

– В Москве невозможно держать корабль, – сказал наконец Орлов. – Какой тут корабль? Стены, машины, троллейбусы. Тебе нужен выход к морю.

– Конечно! – крикнул я. – Выход к морю! Я задыхаюсь без выхода к морю и нигде не могу его найти. А Яуза – это не выход.

– Яуза – прекрасный выход. Построил бы корабль и поплыл прямо из мастерской. Но держать здесь корабль невозможно. Строй лодку – корабля тебе в жизни не видеть.

И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль.

Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль всё-таки легко выскочила наружу.

– Я построю лодку, но только самую лёгкую в мире.

– Самую лёгкую? В мире? А сколько она будет весить?

– Не знаю... Хочется поднимать её одной левой.

– Без бамбука тут не обойтись, – сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. – Бамбук – самый лёгкий материал.

– Куплю десятка два удочек.

– Удочки – это пруттики. А нужны брёвна.

Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, и казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали закупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя.

Постепенно разошёлся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук. Известные лица, большей частью с Птичьего рынка, звонили мне:

– Вам нужен бамбук? Приезжайте.

Я ездил по адресам – чаще в сторону Таганки, но всюду находил удочки или лыжные палки. Кресла, этажерки, веера.

Вместе со мной болел «бамбуковой болезнью» художник Орлов, который был вообще легковоспламеняем.

Коренастый и плотный, он никак не соответствовал своей гордой фамилии. Во всяком случае, ничто не напоминало в нём орла – ни нос, ни бледный глаз, разве только усы растопыривали порой свои крылья и сидели тогда на бороде, как орёл на горной вершине.

– На Сретенке живёт милиционер Шура, – сообщил мне Орлов, – говорят, он видел бамбук.

– Какой милиционер?

– Не знаю, какой-то милиционер Шура, художник.

– Что за Шура? Художник или милиционер?

– Сам не пойму, – сказал Орлов, – Петюшка Собаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно.

Несколько дней через нашего знакомого Петюшку мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер-Шура-художник будет ждать нас в половине двенадцатого ночи на углу Сухареvского переулкa.

Глава II. Бамбук или граммофон?

К ночи разыгралась метель.

Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по Сретенке. На улице было снежно и пусто – мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри. На углу Сухареvского переулкa стоял милиционер в служебных валенках.

– Не знаю, как с ним разговаривать, – шепнул я Орлову, – как с милиционером или как с художником?

Валенки шагнули к нам.

– Ищущие бамбук следуют за мной, – сказал милиционер в сретенское пространство, оборотился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскальзываясь, мы поспешили за ним.

«Ищущие бамбук следуют за мной», – повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник, а уж во второй – милиционер.

Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной каморке. На столе стояла электрическая плитка и неожиданный старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый граммофон. Признаков близкого бамбука видно не было.

Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки, включил плитку, поставил на неё чайник.

– Это моя творческая мастерская, – строго сказал он.

– Мало метров, – живо откликнулся Орлов, и они завели длинный разговор о мастерских и долго не могли слезть с этой темы. Кубатура, подвальность, заниженность...

Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. Стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бамбуком и не пахло.

Меж тем милиционер всё больше превращался в художника. Он уже снял шапку и размахивал руками, как это делали, наверно, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся: вопрос «где бамбук?» крутился у меня в голове.

– Ты что молчишь? – сердито шепнул Орлов. – Хочешь бамбук – хвали этюды.

– Отличные этюды, – сказал я, – сочные – вот что ценно. А где же бамбук?

– А зачем вам бамбук? – спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. – Для каких целей вам нужен бамбук?

Вопрос был задан столь серьёзно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок.

Орлов объяснил, в чём дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер-Шура-художник-любитель немного смягчился.

– Да бросьте вы, ребята, этот бамбук, – неожиданно сказал он, – хотите, я вам граммофон отдам?

– Граммофон? Но мы в связи с бамбуком...

– Берите граммофон. Пружину вставьте – будет играть. А бамбук – ладно. Потом как-нибудь и бамбук достанем.

Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевёл взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать: или бамбук, или граммофон.

– Хороший граммофон, – пояснил Шура, превращаясь в художника. – Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите, какая труба!

– Давай и граммофон, и бамбук, – не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды.

– Не много ли? – сказал Шура, и взгляд его двинулся в милицейскую сторону.

– Погодите! – сказал я. – Какой ещё граммофон! Вы же обещали нам бамбук показать.

– Да на улицу выходить неохота, – признался милиционер-художник. – Надоела эта метель, совсем замёрз на посту. А там ещё в подвал лезть. Лучше бы посидели, о живописи поговорили... Ну ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам починять буду.

Глава III. Провал

За полночь метель разыгралась всерьёз. Снежные плети хлестали по лицу, фонари в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками.

Я замёрз, но веселился про себя, мне казалось смешно – ночью, в метель, идти по Москве за бамбуком. Орлов отставал. Его тормозил оставшийся граммофон.

– Я не уверен, что это бамбук, – говорил милиционер-художник. – Торчит из подвала что-то, какие-то деревянные трубы.

– Вот видишь, – сердито шептал Орлов. – Надо было брать граммофон.

Проходными заснеженными дворами подошли мы к трёхэтажному дому. Окна его были темны, а стёкла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнёзда.

– Дом скоро снесут, – сказал Шура. – Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа, а подвал вон там.

Сбоку к дому был пристроен коричневый сарай. Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперёд и остановился.

– Это не подвал, а провал, – ворчливо сказал он.

Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда, – трубы, покрытые столетней пылью.

– Нужен крюк, – сказал Орлов. – Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим её наружу.

– Какой крюк? – нетерпеливо спросил я. – Где он? Держи меня за хлястик, а Шура пусть фонариком светит.

Орлов крепко ухватил меня за хлястик, я наклонился над провалом, протянул вперёд руку. До трубы было довольно далеко, но рука моя всё вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойствам человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два, хлястик неминуемо лопнул и я полетел в тартарары.

Ударившись коленями о грудку щебня, я повалился на бок. Какие-то кроватные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня.

– Я говорил: надо загогулину, – сказал Орлов, ослепляя меня фонариком. – Посмотри, что это за круглая штука валяется.

Я поднял овальную жестянку, протёр её. Из-под слоя пыли выглянули тиснённые буквы.

– Кинь её сюда, – сказал Орлов.

Под светом фонаря я забрался на груды щебня и дотронулся наконец до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась лёгкая и неожиданно длинная. Я направил конец её в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу.

Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме и как милиционер-художник подаёт какие-то совершенно небамбуковые команды: «заноси левее», «ложи её под фонарь» и т. д.

Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос:

– Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук!

И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Но вот глубокой ночью я стоял на дне пропылённого подвала и подавал одно за другим наверх настоящие бамбуковые брёвна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый, с удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес.

Орлов вытаскивал брёвна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стушевался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации – как милиционеру или как художнику, поэтому и выступил в роли осветителя.

Когда мы вытащили пять брёвен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал:

– Хватит.

– Почему? Мало на лодку.

– На самую лёгкую в мире хватит.

В подвале лежало не меньше двадцати брёвен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собрались утащить всё. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчёркивая свою твёрдость.

Под миганье мы уговорили Шуру дать нам ещё одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх.

При свете уличного фонаря я рассмотрел наконец бамбук. Орлов воткнул брёвна в сугроб. Толщиной с водосточную трубу, оранжевые и коричневые, блестели они, будто покрытые лаком.

– Увязывайте и пакуйте, – сказал Шура-милиционер, – а в субботу приходите граммофон слушать.

Толкаясь локтями, мы жали Шурину руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал:

– Становись-ка ты, Шура, художником.

Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны:

– Не слушай его, будь милиционером.

– Я и сам не знаю, как тут быть, – признавался милиционер-художник, притопывая валенками. – Душа разрывается. И то и другое – дело нужное.

– Надо избрать что-то одно, – сказал Орлов. – И дуть в эту дудку. А то душа разорвется.

– У меня душа крепкая, – объяснял Шура, – её так просто не разорвать.

– Дуй в две дудки, – уговаривал его я. – Это душу укрепляет.

Так обнимались мы под метелью, и, когда обнялись окончательно и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестянку.

Красная краска на ней местами облупилась, проржавела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись белым по красному:

ЧАЙ

Т-во Чайная торговля

В. ВЫСОЦКИЙ и К°

Москва

Глава IV. Ночное плавание

Перед нами была старинная вывеска. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук?

– Ты знаешь, чего я думаю? – сказал Орлов. – Я думаю, что в этих брёвнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили вот на таких лодках, которые называли «чайный клипер».

Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линией. Он пошёл кратчайшим путём к истине и промахнулся.

Орлов просто-напросто устал. Его оглушила потеря граммофона. Ведь он мог запросто уносить сейчас под мышкой граммофон, а вместо этого возился с моим бамбуком.

Была уже глубокая ночь. Снег валил со всех сторон.

Мы замёрзли и долго связывали бамбук верёвкой, связали, взвалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных брёвен.

Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны выкатывались вслед за нами из тёмных подворотен, схлопывались под фонарями и улетали кверху – гроыхать на крышах, выть на чердаках.

– Воет, как граммофон, – недовольно ворчал Орлов, который шёл впереди.

– Право руля! – кричал ему я.

Метель то подталкивала нас в спину, то налетала сбоку и разворачивала поперёк улицы. Мы неловко маневрировали, напоминая баржу. Это было первое плавание самой лёгкой лодки в мире.

– Левая, загребай! Правая, табань! – покрикивал я и вдруг услышал сзади:

– Стоп машина!

В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник. Но ошибся. Нас догонял не художник, но – милиционер.

– Суши вёсла! – крикнул я, и мы повалили связку на снег.

Милиционер-нехудожник оглядывал и нас, и бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная труха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке, до блеска начищенная метелью, сверкала как утренняя звезда. Милиционер молчал.

Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал.

– Метель-то какая, а? – сказал он милиционеру.

Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошёл он бамбуковую связку, посветил фонариком в чёрные жерла брёвен.

– Попрошу документы.

– Документов нет.

– Попрошу накладные на стройматериалы.

– Ничего такого у нас нет.

– А где вы это... гм... взяли?

– Это бамбук, – чистосердечно ответил Орлов. – Нам его милиционер-художник подарил.

На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно. Фраза озадачила милиционера, несколько секунд переваривал он её и сказал неожиданно:

– Это Шурка, что ли?

– Шура. Который на Сретенке стоит.

– Да откуда же у Шурки бамбук? Где ваши накладные?

– Накладные остались у Александра, – вставил я. – Необходимы дополнительные печати.

– Какие ещё печати? Откуда бамбук?

– Он лежал в Сухаревском переулке, – принялся объяснять Орлов. – У милиционера-художника в подвале. Мы там и вывеску нашли.

Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и К°», которая делу особо не помогла.

– Пройдёте до отделения, – сказал милиционер.

– Да что вы! Пойдёте лучше ко мне в мастерскую, – приглашал Орлов. – Заварим чаю, разберёмся.

– Уж если разбираться, так в отделении.

– У нас чай со слоном. А можем чаю-медведя сделать. Согреетесь.

– Уж поверьте нам, – уговаривал я. – Не крали мы этот бамбук. Пойдёте, посмотрите, где мы живём, и, если надо, арестуете.

Некоторое время уламывали мы милиционера, и наконец он согласился, помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперёд, а милиционер-нехудожник важно шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой лёгкой лодки в мире участвуют сопровождающие корабли.

– Вы знаете, – сказал я милиционеру, – вы участвуете в первом плавании самой лёгкой лодки в мире.

– Как это так?

– Из этого бамбука мы построим самую лёгкую лодку планеты.

– На лёгкой-то далеко ли уплывёшь? Да и зачем она вам? Рекорды, что ль, бить?

– Да надо бы их побить, – веселился я. – Чего глядеть-то на них?

– Делайте плоскодонку. У нас в Мещёре все на плоскодонках плавают. Из осины долбят.

Пока мы шли к мастерской, милиционер-нехудожник вспоминал, как делают лодки у них в Мещёре, как выбирают осину, как долбят, как парят, как разводят её.

Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал:

– Накладные – бог с ними. Но где же всё-таки хоть какие-то документы?

Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашёл квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин.

– Хорошо, что вы платите за энергию, – говорил Оськин. – И чай хорош, и вправду коричневый, как медведь. Но всё-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу – заберу.

Оськин-милиционер немного отогрелся, снял форменную шапку, расстегнул шинель.

– Я бы вас сразу в отделение повёл, – признавался он. – Да там места мало – бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошёл, но, если б вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить.

Раз пять заваривали мы чай-крепач. За окнами выла метель, а мы сидели красные, распаренные, ели столовыми ложками варенье из банки.

– Хорошо, что вы не побежали, – продолжал Оськин. – Это молодцы. Тут один недавно вздумал убежать...

Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стеклянных палочек. Напротив Оськина на стене висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние четыре года.

– Что это они все в шляпах? – спросил Оськин. – Сделал бы хоть одного в кепке.

– Такие люди кепок не носят, – возражал Орлов. – Это люди серьёзные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?

Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья.

– Тюбетейку, – сказал он.

Шесть бамбуковых брёвен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вылезали в коридор. Снег, облепивший брёвна, растаял – на золотистых боках сверкали янтарные капли.

– Одного не пойму, – говорил Оськин. – Как бамбук попал в подвал?

– Чай и бамбук – одного поля ягоды, – отвечал Орлов, помахивая вывеской «Высоцкий и Ко». – Поверьте мне: где чай, там и бамбук.

– Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого, – рассуждал я. – Вместе с чаем он привёз и бамбук. Хотел, наверно, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нём пить.

– Бамбук применялся для упаковки, – спорил со мной Орлов. – Этими брёвнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернётся.

Так болтали мы о чае и бамбуке, и чай заваривался в чайнике, бамбук лежал на полу, и мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места.

Глава V. Идея зарастает мохом

Мне хотелось начать строительство лодки немедленно.

Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил брёвна, гладил их, измерял.

В тельняшке, с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок и так просто тукнуть топором по бамбуку не решался.

Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная, далеко позади остался треугольный кусочек, я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как известно, служит хозяину примерно десять лет.

Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею.

Прошёл месяц, и настроение Орлова переменялось.

– Здесь не чайный склад купца Высоцкого, – шутил он. – Пора превратить бамбук в лодку.

За месяц Орлов совершенно излечился от «бамбуковой болезни». Он подхватил где-то «керосиновую болезнь» – стал собирать керосиновые лампы и в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться.

А я не знал, с чего начать, и, главное, не представлял себе, какой должна быть самая лёгкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли.

– Тебе, наверно, мешает бамбук? – заискивая, спрашивал я Орлова.

Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями.

– Ну хочешь, я увезу бамбук домой?

Помалкивал Орлов, помалкивал.

– А что? Возьмём за пятёрку самосвал и отвезём на квартиру.

– Для этого надо иметь квартиру, – отвечал наконец Орлов.

Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. Этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу, возводящему голубятню.

Да, так получалось, что, прежде чем иметь лодку, я должен был заиметь квартиру, в которой мог бы хранить строительный материал. Меня всегда поражало, как в жизни всё связано между собой:

лодка —

бамбук —

милиционер-художник —
керосиновые лампы —
Петрович —
квартира.

Казалось бы, нет в этом никакой связи, а в голове моей всё переплелось, запуталось морским узлом.

– Это узел судьбы, – пояснял Орлов. – Брось ты самую лёгкую лодку в мире. Давай распилим брёвна и понаделаем из них кувшинов. В таких кувшинах можно держать керосин, олифу, а если надо, сыпучие тела.

Замыслы Орлова пугали меня. Особенно раздражали сыпучие тела. В жидкостях всё-таки оставалось что-то от идеи мореплавания.

Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую лёгкую лодку в мире.

Случайно наткнулся я на фотографию в журнале «Рыбоводство». На ней изображена была лодка, очень лёгкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись:

«Известный писатель-путешественник любит порыбачить и поразводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоёмах Подмосковья».

В справочном бюро узнал я телефон, позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чём дело.

– Ладно, – сказал писатель-путешественник, – заходи завтра ко мне. Покажу лодку.

Глава VI. Писатель-путешественник

Я шёл по улице, с некоторой гордостью поглядывая на прохожих. Они-то спешили кто в булочную, кто в химчистку, а я – к писателю поговорить о лодках. Да, самая лёгкая лодка в мире, ещё даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы.

В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать тёткой. Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир».

– Куда? – спросила она.

– К писателю.

– Здесь все писатели.

– Как это?

– А так – полон дом. Ты к кому?

Я ответил и, поражённый, не решился ехать на лифте. Целый дом писателей я встретить никак не ожидал и даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Поднимаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездиями разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук пишущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствовалось что-то мощное, крепкое, писательское.

Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку:

Звонить воспрещается! За нарушение – смертная казнь!

Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскрёбся в дверь. За дверью, в общем-то, было тихо, только кто-то поскрёб её с той стороны. Я постоял и снова слегка поскрёбся. С той стороны поскреблись в ответ.

Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжёлым изучающим взглядом.

– Чанг, кто там? – слышался голос. – Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип, что звонил насчёт лодки, пускай войдёт.

Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обрубком хвоста в сторону комнаты.

Я вошёл и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу, на медвежьей шкуре, и курил кривую трубку. По левую руку от него, на шкуре росомахи, стоял радиоприёмник «Телефункен». По правую, на шкуре волка, – красный телефон.

Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел её боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой, засохшей рыбьей чешуёй.

Я поздоровался и спросил:

– А как Чанг отличил меня от Гусакова?

– По запаху, – серьёзно ответил писатель и негромко приказал: – Чанг, принеси гостю чего-нибудь помягче.

Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принёс шкуру рыси. Я расстелил её и уселся.

– У меня есть ещё шкура австралийского ежа. Я стелю её, когда приходит Гусаков.

– Как же Чанг его до сих пор не загрыз?

– Это не так просто. Чанг грызёт его второй год, а тот – как новенький.

Чанг виновато опустил голову – дескать, что ж тут поделаешь, бывают такие негрызаемые гости.

– Ваша лодка похожа на каяк, – сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать.

– Это смесь байдарки с каяком. Я прошёл на ней восемнадцать рек Западной Сибири...

А ты, случайно, не знаком с Гусаковым?

– И в глаза его не видел.

– А может, всё-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подсланный?

– Не знаком и не хочу знакомиться, – твёрдо ответил я. – Я на лодку пришёл поглядеть.

Интересно, сколько она весит?

– Двадцать пять.

– Тяжеловата. Мне нужно на двадцать килограммов легче.

– Купи детское корыто.

– погодите, – принялся объяснять я. – У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче.

– А зачем тебе лёгкая? Лодка должна быть основательной. Как дом. Но можно, конечно, сделать лёгкую, заманить в неё Гусакова – и пускай переворачивается, а?

– Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать.

– В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да ещё самую лёгкую в мире, его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать: я самый великий человек в мире, плавал на самой лёгкой лодке в мире! Я уж знаю Гусакова.

– А кто вашу лодку построил? – спросил я. – Может, вы дадите мне адрес Мастера?

– Адреса не дам, – сказал писатель-путешественник. – Но в следующее воскресенье я сам поеду к Мастеру в Каширу. Бери бамбук – поедem вместе. Чанг, ты поставил чайник?

Глава VII. Отрезанная голова Орлова

В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал.

Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но ещё больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, и Орлов не входил в его расчёты.

Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли еловые дрова.

– Вы очень похожи на одного моего знакомого, – сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся.

– Не может быть, – ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете.

– Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков.

– Зачем же мне бороду сбривать?

– Это мы сбриваем мысленно, чтоб на Гусакова быть похожим.

– Да не хочу я быть похожим!

– Вот это правильно. И я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек. А всё-таки вы похожи. Вы не родственники?

Орлов объяснил, что они не родственники, и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидным.

Я чувствовал себя виноватым и перед тем, и перед другим, пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, с другой – новое знакомство.

«Ладно, – думал я, – главное – довезти бамбук до Каширы и лодку построить».

Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив и всё это время шуршал газетой.

– И зачем молодые люди носят бороду! – сказал он. – Ну зачем? Не пойму.

Это был камешек в огород Орлова.

Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды.

– Ну, в старое время люди мало читали – вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи.

Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике, и хоть напоминала порой обрезанную снизу горную вершину, орёл усов выглядел поважнее. Орлова я бы и не назвал бородатым. Скорей уж – борогато-усатым. А ещё точнее – брадоусым.

– Сбрить бороду – это мало, – ответил наконец Орлов. – Я бы всем, кто носит бороду, голову отрезал.

– Это уж потом, если бороду не сбреют.

Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках.

– Режьте, – сказал он.

– Что такое?

– Голову мне режьте.

На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по-гусиному шею, кто протискивался через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше.

– Вы хотели насильно сбрить мне бороду, – напирал Орлов, – а потом отрезать голову – режьте!

– Режьте, режьте, – поддержал писатель-путешественник. – Хотели резать – режьте. Чего тянуть?

– Ничего я не хотел. Я хотел только бороду сбрить.

– Ничего подобного, – сказал и я, обращаясь к пассажирам. – Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слышали!

– Не хотел я резать! – отбивался человек в золотых очках, привставая и отталкивая нож.

– Граждане! – громко сказал вдруг писатель-путешественник. – Среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с неё бороду!

– Вот вам моя голова! – наседавал Орлов. – Что ж вы не режете?

Да кто же это сказал, что Орлов не похож на орла?! Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да орёл же! Настоящий орёл!

И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. Какой тут товарищ Гусakov? Орёл!

Всё больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдёргивать с крючка свою сумку.

– Только брить хотел, только брить! – объяснял он, пробираясь к выходу из вагона.

Глава VIII. Время компота

Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивались сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи.

Я думал, что увижу человека преклонных лет, но Мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным, каким-то зимним лицом.

Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его:

– Как звать ваших великих друзей?

Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею.

– О делах потом, – сказал Мастер. – Прошу вас и ваших великих друзей в дом, к столу. Прошу, прошу, прошу.

Несколько смущённые, мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом.

За столом собралась уже вся семья Мастера – дедушки и тётушки, сёстры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как «великих друзей писателя-путешественника».

Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить своё величие.

– Да, да! Это мои великие друзья! – поддакивал писатель-путешественник. – Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешнее. На самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали!

– Не может быть! – восклицали родственники.

А стол, за который усадили нас, был завален угощеньем: горы салата, застывшие озёра холодца. Белоснежное лицо Мастера порхало над столом, мелькали добрые руки тётушек, которые подкладывали писателю-путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, солёпочки в шубе, картошечки в мундире.

Мастер произнёс речь в честь своего великого друга писателя. Писатель-путешественник произнёс речь в честь своего великого друга Мастера. Дядюшка Карп Поликарпыч произнёс речь в честь великих друзей великого друга Мастера.

– Кстати, – пояснял писатель-путешественник. – Мои друзья задумали великое дело. Они решили построить самую лёгкую лодку в мире. И тут не обойтись без Мастера, который велик, как гора. Скажем – Казбек.

Тут все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус, с гор спустились к морю, а на море и оказалась самая лёгкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая лёгкая лодка, кинулись к окнам глядеть на бамбук.

– Бамбук-то лёгкий! – вскрикивал кое-кто из них. – А можжевельник полегче будет.

– А орех?

– Пойдите, пойдите, – успокаивал Мастер. – Сейчас не время бамбука и других материалов – время борща.

И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плавание.

– Лодка не получится, – говорил Мастер чуть позже, – если мы не отведаем гуся.

Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом, – двенадцать.

– А всё-таки бамбук не такой уж и лёгкий, – сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч.

– Я раньше никогда не работал бамбук, – заметил Мастер, недовольно двинув бровями. – И ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе.

– А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке, – ответил Карп Поликарпыч.

Подняв брови повыше, Мастер внимательно оглядел Карп Поликарпыча. В глазах его выражалось сильное сомнение в том, что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли.

Дядюшка глаз своих не отвёл, а гусиную ногу стал грызть более напряжённо, как бы намекая: вот видишь – ем гуся, а думаю о бамбуке.

Отложив недоеденную гусиную ногу, Мастер встал и вышел из-за стола в кабинет.

В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карп Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тётушек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке.

Меж тем Мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошёл к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полубок.

В окно мы видели, как Мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает в увеличительное стекло.

Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусяное блюдо. Все напряжённо молчали, ожидая, что скажет Мастер.

Откашлявшись, Мастер сказал:

– Время компота!

И только когда прикатали бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и черносливина, и яблочко, и виноградье, и мирабель, Мастер ободряюще поглядел на меня:

– Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая лёгкая лодка в мире, но самую лёгкую в Кашире я сделаю.

Глава IX. Самая лёгкая лодка в Кашире

Ровно через месяц я снова поехал в Каширу. Теперь я ехал один. Самую лёгкую лодку я должен был легко – одной левой – принести домой.

Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у Мастера доросли до земли, белоснежное доброе лицо его к весне поглубело.

– О делах потом, потом, – встретил меня Мастер. – Вначале – к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья?

Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного, а с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались.

– Ну как лодка? – нетерпеливо расспрашивал я. – Где она?

Оказалось, лодку никто не видал. Мастер до поры до времени скрывал её где-то, возможно в сарае.

Снова начались салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами, потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чём угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчёт лодки, Мастер смыкал брови и недовольно кашлял.

К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как, и я глотал груши целиком. Только Мастер не торопился, просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить её в рот. Наконец он встал, скромно потянулся и сказал:

– Теперь бы соснуть часочек.

Но тут все возмущённо зафыркали, не решаясь, впрочем, голосом выказать недовольствие.

– А что, – говорил Мастер, похлопывая меня по плечу. – Устраивайтесь на диване. После обеда полезно передохнуть.

– Да ты что! – сказал Карп Поликарпыч. – Построил лодку или нет?

– Какую лодку? – как бы удивился Мастер.

– Самую лёгкую в мире.

– Ах, ты про это! Вон оно что. Да ты что ж, Карп Поликарпыч, разве не видел её?

– Не только я. Никто её не видел. Пойдём в сарай.

– Зачем в сарай? В сарай идти незачем. Уберите стол, поставьте стулья вдоль стен, а посреди комнаты надо постелить ковёр. Тот, новый, который на шкафу в прихожей.

Родственники начали суетиться, а мы с Мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку «Капитанского» табаку.

– Всё готово! – крикнул из-за двери Карп Поликарпыч.

– Уж больно вы торопитесь, – недовольно поморщился Мастер. – Расстелили ли ковёр?

– Расстелили, всё готово.

Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был расстелен ковёр «Богатырь», а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперёд было выставлено кресло.

– Ковёр попрошу зря не топтать, – сказал Мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и наконец вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было. Зато сам Мастер был в новом тёмно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстуке.

Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал:

– Друзья! Лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее ста лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки, так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку.

И Мастер снова вышел из комнаты.

Глава X. Бейте и топчите!

Скоро он вернулся, держа в руках с десяток тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре.

Совершенно потрясённый, смотрел я на палочки в руках Мастера. Мои брёвна, мои чудесные толстые, массивные, не виданные никем в Москве брёвна превратились в бамбуковую щепу. И родственники глядели на Мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что Мастер так искрошит бамбуковые брёвна.

Разложив бамбуковинки в некотором порядке, Мастер вышел и принёс ещё с десяток точно таких же палочек. Среди них имелась и шутовина, которая напоминала лесенку. Уложивши лесенку среди палочек, Мастер успокаивающе помахал нам рукой и снова вышел.

Эти бесконечные его уходы и приходы совершенно измучили нас. Родственники смущённо пожимали плечами и боялись смотреть мне в глаза. Палочки и лесенка были такие тонкие, что всем ясно было – ничего, кроме детской игрушки, составить из них невозможно.

На этот раз Мастер принёс брезентовый мешок и шесть полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бамбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Всё это выглядело жидко, но, когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце моё стукнуло от волнения в первый раз.

«Неужели что-нибудь получится? – думал я. – А вдруг и вправду сейчас появится лодка?»

Теперь я понял, почему Мастер надел новый костюм и страстно захотел, чтоб фокус его удался. Что ж, разве зря мы с Орловым лазили в подвал? Неужели разрушится здание, фундамент которого стоит на тельняшке и зубе золотом, стены подпёрты милиционером-художником, а из окошек выглядывает чуть было не отрезанная голова Орлова!

– Сочлением! – сказал Мастер и, привстав на колено, начал «сочленять» бамбук и полумесяцы.

Полумесяцы всовывались в корзину-огурец, распирали её изнутри, изгибались так, что казалось, вся конструкция вот-вот лопнет. Каждый бамбуковый прут натягивался как тетива, а по форме напоминал лук. И когда последний полумесяц замкнулся, я увидел длинную и узкую птичью клетку, лежащую на ковре.

– Каркас составлен, – сказал Мастер.

«Да ведь это каркас, – думал я, – а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа на скелет стремительного морского существа? Нерпа? Нет, нерпа коротка, угловата, а здесь лёгкость, полёт».

В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая ещё не выпущена на волю.

– Бью! – воскликнул вдруг Мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону.

– Бью сильнее! – сказал Мастер, ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене.

– Топчу! – воскликнул Мастер и топнул, наступил ногой на бамбуковые рёбра. Они прогнулись под ударом, напряглись, как пружины, и отбросили Мастера так, что он еле устоял на ногах.

– Бейте и топчите!

Смертельно побледнев, Мастер отошёл к стене и встал, сложив руки на груди.

Родственники зашептались, глаза их расширились.

Дядюшка Карп Поликарпыч поднялся, подошёл к лодке, и в этот момент я проснулся. Я вдруг понял, что не желаю, чтоб с этого момента кто-нибудь прикасался к лодке, которая, только что родившись, обнажённая, лежала на ковре.

– Стойте! – сказал я. – Трогать лодку запрещаю! Мастер, продолжайте представление!

Родственники и Мастер, услышав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлявшись, они её постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий её родственник.

Дядюшка Карп Поликарпыч отошёл на место.

Мастер поморщился. Я подпортил его спектакль. Как видно, он рассчитывал, что лодку будут бить и топтать все присутствующие. Потеряв нить, он сразу не мог вспомнить, что делать дальше. Поглядев на мешок, принесённый Мастером, я понял, что в нём оболочка лодки, её платье.

– Одевайте её поскорее, – твёрдо предложил я.

Мне казалось, лодка слишком уж обнажена, мне было неловко за неё и немного стыдно.

Глаза Мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит.

Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул её на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал чёрною шнуровкой.

Я глядел на свою лодку – самую первую в жизни и самую лёгкую в мире, – и сердце моё плыло и качалось.

Тонкая,
изогнутая,
остроголовая
и длиннохвостая,
в серебряном платье,
она лежала поперёк комнаты на помертвевшем ковре, как стрелка
компас, пересекала комнату пополам, прорезала стены, чтоб вылететь из
Каширы к берегу, к ветру, к воде...

Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса:

– Забирайте свою невесту.

Мы обнялись.

Потом я подошёл к лодке и легко поднял её одной левой рукой.

Глава XI. Невеста под кроватью

Поздней ночью добрался я до Москвы. Разобранная лодка покоилась теперь в двух брезентовых мешках, один из которых висел у меня на спине, другой – на груди.

На троллейбусе добрался я до Крестьянской заставы, где снимал комнату, и только лишь открыл дверь, как сразу наткнулся на своего хозяина Петровича.

– Что это у тебя в мешках? – спросил он.

– Ничего особенного, – махнул я рукой. Не хотелось рассказывать Петровичу про лодку. Он не слишком-то был достоин такого рассказа. Защитный цвет и необыкновенная форма мешков вызвали у Петровича сильнейшую тревогу. Он никак не мог сообразить, что же это такое находится в мешках, и туго двигал бровями.

– Парашют украл? – спросил наконец он.

Я промолчал и прошёл в свою комнату. Петрович не поленился пойти за мной. Он внимательно наблюдал, как я снимаю мешки и засовываю их под кровать.

– Ты это брось, – сказал он. – За принос неизвестных предметов знаешь чего бывает? Телевизор-то смотришь? Вынь мешки и предъяви для опознания.

Петрович стоял рядом со шкафом и так был широк в плечах, так монументален, что казалось, это стоят рядом два брата-близнеца. Но если шкаф был просто гардеробом, то брат его – по виду старше, значительней – был явным владельцем жилищной площади, на которой брат-гардероб только временно находился.

– Принос мешков в ночное время, – говорил Петрович, – недавно по радио говорили и по телевизору показывали...

Речь свою шкаф-Петрович произносил с большим затруднением, делал паузы, чтоб я хорошенько понял смысл, и, подозревая, что смысл до меня не доходит, кратко пересказывал сказанное:

– Ночные переносы... владелец площади... в газетах пишется...

Я сидел на кровати и слушал Петровича. Я не возражал и не спорил, но мне было обидно и больно за бамбуковую мечту.

Так, отрывочно и грозно, Петрович мог говорить часами, и против этого было одно средство – три рубля.

Я отдал Петровичу трёшку, и он ушёл наконец в кухню, где немедленно принялся что-то готовить, зажигать газ, греметь посудой. Казалось, он немедленно, не заходя в магазин, пре-

вратил трёшку в продукты. Но на самом деле продукты были давно заготовлены, и Петрович только вынул из холодильника колбасы и свинины ровно на три рубля, а то и на два пятьдесят, чтоб разбогатеть на полтинник.

Я погасил свет и лёг. Хотелось поскорей отвлечься от колбасы и Петровича – подумать, помечтать о своей лодке.

Прикрыв глаза, я увидел её лежащей на ковре у Мастера, мигнул – перенёс на озеро. Серебристая по голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы – таволгу, камыши.

На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далёким островам, и казарки летели ей навстречу.

Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почётном месте.

Я зажёл свет и оглядел комнату. В старом, продавленном кресле лодка не умещалась, а на шкафу, пыльном и паутином, место было скорее позорным, чем почётным.

И особенно жалким и горьким показался мне пол, где, давно прогнившие, шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зелёная, из-под зелёной – древнейшая охра, и из-под охры – совсем нечеловеческая доисторическая чернота.

На стене, освещённая вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая.

Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад, – «Самовар» и «Курильщица табаку». И хоть писаны они были не так давно, смотреть мне на них не хотелось.

Казалось бы, написаны они ярко и смело – активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды.

По моим расчётам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение – «шаризм». Как некогда великие французы потрясли мир «кубизмом», так и я у Петровича на Крестьянской заставе готовил живописную бомбу.

«Шаризм» – это было моё личное открытие, никто в мире не писал «шарами», только лишь я один.

Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые – «Люди и арбузы», «Гитаризм под облаками». Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так, уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги.

К сожалению, выстраданный мною «шаризм» себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей «шаризм» не мог распространиться по белу свету.

Шаролюбивая кисть глохла в моих руках и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры – «Самовар» и «Курильщица табаку», с которыми я решил не расставаться до самой смерти.

Гнилой пол, не нужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком.

И потолок был невыносим – покрытый водорослями, жёлтыми медузами. Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более что кровать – единственный, кроме «шаризма», предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьёй и должны были уж как-то поддерживать друг друга.

Я погасил свет и лёг, решив назавтра вымыть пол под кроватью.

Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу.

«Мастер назвал лодку невестой, – вспомнил я. – Действительно похожа – в серебряном платье, лёгкая, весёлая».

Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью.

Глава XII. Увядший букет

Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтоб чистить ею, скажем, водопровод.

Везти лодку к Орлову тоже не хотелось, я и так долго мучил его бамбуком. Но, с другой стороны, Орлов лодку не видал, а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось.

И я повёз лодку к Орлову.

Я был уверен, что она ему понравится, и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга.

– Что это у тебя в мешках? – спросил Орлов, открывая дверь.

– Сейчас увидишь! – с восхищением пообещал я. В моём обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника.

– На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал всё-таки! Сколько же она весит?

– Сейчас взвесишь! – снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесёмки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза.

Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось.

– Всё, что осталось от бамбука? – спросил он.

– погоди, погоди, не торопись, – сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и всё-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела.

– Хило, – сказал он. – Слабовато.

– Бью! – воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц-шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга.

– Да, вроде бы скелет красив и прочен, – мямлил он, – но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней.

Я вытащил серебристую оболочку, натянул её, надеясь, что это прорвёт плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было.

– Лёгкая лодочка, – сказал он, небрежно приподымая корму. – Не думаю, что самая лёгкая в мире. В Кашмире – возможно. А где-нибудь в Кашмире есть небось и полегче.

Я заставил его всё-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание, но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной.

Когда я пришёл в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из кувшина. Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки.

– Слушай, – сказал я, – в чём дело? Тебе лодка не нравится?

– Да нет, почему? Нравится.

– А что ж ты молчишь?

– А что ты хочешь, чтоб я подпрыгивал от счастья?

– Мог бы и подпрыгнуть.

– Не хочется, – сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он обижался на судьбу? Бамбук мы доставали вместе, в Каширу ездили вместе, а лодка получилась моя.

– Слушай, – сказал я. – Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана.

– Ну нет, – ответил Орлов. – Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе, и делал её не ты, а Мастер. Ты и топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался: самая лёгкая в мире! Я построил!

Я слушал Орлова, и голова моя всё ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы.

Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней: бамбук – милиционер-художника, помощь – Орлова, талант – Мастера. Моими оставались только тельняшка и зуб золотой.

– Ладно, – сказал я. – Будь ты капитаном, а меня возьми матросом.

– Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», – возразил Орлов. – Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь.

Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.

Глава XIII. Бельмо в глазу

Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера.

Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай.

К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришёл некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно – милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошёлся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принёс граммофон, завернутый в газету.

Увидевши меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанные под серебряным платьем.

– А почему она серебряная? – сказал наконец он.

Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесённого граммофона.

Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может мешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу.

– Осторожно! – воскликнул Орлов. – Не повреди раструб!

Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах».

Скульптура, лодка и граммофон – для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу у двух человек.

Орлов с милиционером повернулись к лодке спиной, девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал. Он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить.

Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий её конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел:

– Карл у Клары украл кораллы...

Клара Курбе счастливо засмеялась.

Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что «Клара украла кларнет».

Орлов зажёл с пяток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно.

Трубу приладили к ящику, Петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластика завертелась, и послышался вальс «Амурские волны».

Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и лёгкая грусть. Далёким и тихим был звук, выливающийся из граммофонной трубы, далёким и тихим, как из морской раковины. Казалось, вальс доносится сквозь шум прибора.

– Бедные звуки... – шептала Клара Курбе. – Какие они тоненькие и маленькие...

– Вот это настоящая музыка! – подхватывал Орлов.

Милиционер-художник гордился граммофоном и командовал:

– Тише, тише! Дайте послушать!

Подперев руками щёки, все столпились, сидя вокруг граммофона. Орлов то и дело толкал Петюшку локтем, боясь, что тот пропускает красоту звука. Петюшка и вправду красоту пропускал, налегая на кильку и яблоки.

Стали пить чай. Про лодку все позабыли, и Шура-милиционер купался в лучах граммофонной славы.

Глава XIV. «Люди в шляпах»

Между тем скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить её к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная чёрно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и Шура-милиционер сиял, направляя раструб на девушку.

– Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор, – сказал наконец Орлов. – Скорей всего – на необычную шляпу.

– Ничего похожего, – ответил Шура-милиционер, не ожидая неприятностей. – Она похожа на ухо.

– Жалко, что здесь нет никакой шляпы, – сказал Орлов. – А то бы мы сравнили.

– А группа-то скульптурная! – воскликнул Шура, попадаясь на удочку. – Вон там сколько шляп – и ничего похожего.

Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедились, что действительно – ничего похожего.

Тут Петюшка Собаковский задумал отличиться. Он схватил граммофонную трубу и нахлобучил себе на голову. Милиционер сделал бровью, Орлов поморщился, девушка глянула на Петюшку с некоторым презрением.

Затырканый Петюшка отдал трубу хозяину и сел на место.

– Люди в шляпах, – сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову. – Какой интересный замысел!

– Все в шляпах, – разволновался Орлов. – И у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него всё равно свой мир. Как думаете, какой?

Девушка Клара Курбе, а за нею и остальные пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир.

– Ясно, что в этом человеке происходит борьба, – сказала Клара, – но борьба непростая.

Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нём может происходить такая уж борьба.

– Мне кажется, это борьба неба и земли, – пояснила Клара.

Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчётливо остолбенел. Ему, пожалуй, и в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок.

– Вот это правильно, – чуть заикаясь, сказал Орлов. – Точно подмечено. Именно – борьба...

– А под той кривой шляпой, – продолжала Клара, – под той – борьба огня с водой.

Милиционер с граммофоном окончательно пошатнулись. Силою своих взглядов девушка Клара Курбе решила затмить не только граммофон, но и скульптурную группу. Милиционер-художник обеспокоился. Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в неё пальцем и сказал:

– А под этой происходит борьба добра со злом.

– Хэ-хэ, – ответила Клара Курбе. – Ничего подобного.

Милиционер поёжился и, закрыв рот, воззрился на Клару.

Орлов толкнул локтем Петюшку, который чем-то хрустел в кармане.

Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала.

– Под этой шляпой происходит нечто иное, – замедленно начала она. – Это... борьба борьбы с борьбой!

Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. Одна из керосиновых ламп внезапно пыхнула и погасла. Всё общество, расширивши глаза, вглядывалось в Клару, соображая, может ли быть на свете такая неслыханная борьба.

Старый мой друг художник Орлов наконец-то поглядел на меня в поисках поддержки. Борьба борьбы с борьбой вышибла из его глаз моё бельмо, то есть лодку. Но обида ещё не угасла во мне, и я решил не ввязываться в дело.

Орлов глянул на милиционера, но тот затравленно молчал, оглядываясь на граммофон. Петюшка Собаковский, которому запретили хрустеть, в расчёт не принимался. Орлову надо было выпутываться самому.

– Борь-ба, – медленно выговорил он. – На вид человек как человек, а в душе всё – борьба, борьба...

– Борьбы с борьбой, – подчеркнула Клара.

Орлов передёрнулся и опять глянул на меня.

– А мне нравится, когда борьба борется с борьбой, – сказал я, выручая старого друга, хорошего, в сущности, человека, который всегда выручал и меня.

– Подумать только! – воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня. – Вы, кажется, понимаете, что такое борьба борьбы с борьбой.

– Конечно понимаю, – сказал я.

– Что же это?

– Очень даже простая штука, – ответил я, глядя Кларе в глаза. – Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы карате. Вот это и была борьба борьбы с борьбой.

– Ерунда, – сказала Клара. – Чтоб понять, что такое борьба борьбы с борьбой, надо много страдать, много думать.

– Я и думаю, только не о вашей борьбе, а о своей лодке, самой лёгкой в мире.

– Эта лодка самая лёгкая в мире?

– Самая лёгкая.

– А легче нету?

– Нету и не может быть.

Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку.

– И здесь борьба, – сказала она, – лёгкое борется с тяжёлым, но тяжёлое побеждает.

Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место.

Этого я стерпеть не мог.

– А ну-ка, вылазь! – крикнул я, вскакивая.

Потрясённая моим тоном, Клара оглянулась на Орлова.

– Вылазь-вылазь, – повторил я. – Вылазь без борьбы.

– Он хозяин, – развёл руками Орлов. – Раз говорит «вылазь», значит вылазь.

Клара Курбе выкарабкалась из лодки, под села к столу и нервно глотнула чаю. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлечённо звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону.

Вечер, кажется, был испорчен.

– Слушай, – сказал Петюшка, – а как называется твоя лодка?

– Сам не знаю, – ответил я, – ещё не придумал.

– Ты знаешь, что я думаю, – сказал Петюшка. – У самой лёгкой лодки в мире должно быть и название самое лёгкое в мире.

Глава XV. Самое лёгкое название в мире

Такой выходки от Петюшки не ожидал никто.

В первую секунду все приокаменели, раздумывая, что, собственно, сделал Петюшка – брякнул ли глупость или высказал нечто разумное?

Напрягся милиционер-художник и даже почти схватился за голову, которая не успела переварить «борьбу борьбы с борьбой», а Петюшка подбросил нового материалу.

– Как это может быть – самое лёгкое название? – сказал Шура. – Лёгкая лодка – я понимаю. А название?

Петюшка Собаковский и сам растерялся.

– Ну взять, к примеру, название «Пена», – сказал он. – Пена-то лёгкая.

Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена».

Клара замкнуто звякала ложкой. Теперь и на Петюшку смотреть ей не хотелось. Во-первых, он брякнул глупость; во-вторых, он разговаривал со мной. А после того, как я выгнал Клару из лодки, разговаривать со мной не должен был никто. Глянув на Петюшку как на некоторую неприятную пену, Клара углубилась в чай.

Орлов с милиционером сразу поняли, что Петюшка потерял золотое место в сердце Клары, и молчали, решив свои места пока сохранить.

– «Пена» не годится, – сказал я. – Как-то не лодочно.

– Почему не лодочно? – спросил Петюшка. – Лёгонькая, беленькая, бегаёт по волнам.

– Да разве нет ничего легче пены?

– Наверно, есть, – сказал Петюшка. – Может быть, пепел? А?

Клара снова глянула на Петюшку, как бы превращая пену в пепел.

Милиционер-художник зашевелился. Ему явно хотелось влезть в разговор, но золотое место в сердце Клары накладывало печать на его уста.

Все эти Кларины взгляды и золотые места начали немного раздражать художника Орлова.

– «Пепел», – сказал он, не глядя на Клару. – Ну и название! Какой же дурак назовёт свою лодку «Пепел»? Придумал бы что-нибудь нежное. К примеру, «Бабочка».

Милиционер-художник заёрзал на стуле. Ясно было, что он придумал лёгкое название, но не решался его сказать, оглядываясь на Клару. Он так и сяк замыкал свой рот, но придуманное слово рвалось наружу.

– Ласточка! – гаркнул он.

Эта милицейская ласточка прорвала плотину, и птичьи названия полетели одно за другим: «Чиж», «Горихвостка». Вспыхнув на миг, название тут же меркло.

– Название должно быть даже легче птицы, – сказал Орлов. – Надо, чтоб оно и звучало легко и просто. Например, «Эхо».

– «Эхо» – не очень лодочно, – сказал я.

– Лодочно! Лодочно! – сказал Орлов. – И лодка, как эхо, будет летать от берега к берегу.

Я заволновался и неожиданно подлил чаю Кларе Курбе. Мне вдруг ужасно захотелось назвать свою лодку «Эхо». Я представлял себе, как красиво можно написать это слово на серебряном борту, как будут удивляться капитаны встречных кораблей, читая: «Эхо».

– Есть кое-что полегче, чем эхо, – сказал Петюшка. Он давно помалкивал, выращивая в голове лёгкое название.

– Что же это? – спросил Орлов.

– «Ау».

– Чего?

– «Ау» легче, чем «Эхо». Просто – «Ау»!

– Ну и название! – усмехнулся Орлов. – «Ау». Вот лодка утонет, тогда и будет – ау!

– Зато всего две буквы, – защищался Петюшка. – «А» и «у».

– Можно придумать название из одной буквы, – сказал Орлов. – Например, «О»! Чего уж легче – «О». Что может быть легче, чем «О»?

– Привет, – сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает своё название.

Глава XVI. Самое лёгкое название в мире (Продолжение)

– Привет, – повторила Клара. – Вот что самое лёгкое в мире. Один человек передаёт другому привет. Куда уж легче?

На миг я представил слово «привет», написанное на борту лодки, и мне стало скучно. Но я решил промолчать, зато милиционер-художник отомкнул уста.

– Да, – сказал он, – привет – лёгкая штукавина.

Тут уж всем стало окончательно ясно, что желание иметь золотое место в сердце Клары и в собственном сердце милиционера также занимало золотое место.

– А если один очень толстый человек передаёт привет другому очень толстому? – сказал Петюшка. – Какой тогда получится привет? Тяжёлый или лёгкий?

Клара повела плечами.

– «Привет» для названия лодки не годится, – сказал Орлов. – Надо придумать что-то другое.

– Тогда «Мечта», – сказала Клара и задумчиво посмотрела на художника Орлова. – Мечта даже легче привета.

– То «Привет», то «Мечта», – грубовато хмыкнул Орлов. – Больно уж красиво.

Девушка Клара Курбе огорчённо посмотрела на художника Орлова, который по собственной воле уходил из её сердца.

– А если я мечтаю о двухпудовой гире? – спросил Петюшка, и милиционер-художник неожиданно хрюкнул от смеха, а потом ухмыльнулся.

Тут уж все мы – и я, и Орлов, и Петюшка – тревожно поглядели на Клару, надеясь, что она этого хрюканья с ухмылкой не заметит.

Милиционер и сам напугался и попробовал преобразить неуместную ухмылку в сосание больного зуба. Но это не получилось – смешливая ухмылка тянулась, продолжалась. Все поняли, что милиционер-художник с громом и треском рухнул из сердца Клары на грязный пол.

Отчаяние и ужас отобразились в его глазах. Ему совсем не хотелось рушиться на пол. Да ведь он и ничего такого не сделал – только хрукнул, только ухмыльнулся! Нельзя же так сразу – из сердца на пол!

С ужасом, повторяю, в глазах Шура-милиционер искал выход из неприятного положения.

– Ха-ха, – нервно засмеялся он в открытую. – Ну и насмешил ты меня, Петюшка. С чего ты мечтаешь о двухпудовой гире?

– Мечтаю, и всё! – лаконично ответил Петюшка. – Выжимать её хочу.

– Вот так мечты! – продолжал смеяться Шура, направляя свой смех на девушку. Из всех сил он приглашал Клару посмеяться над Петюшкой, но она даже не улыбнулась. Поджав губы, она глядела внутрь керосиновой лампы. Ясно было, что она хоть треснет, а больше никогда в жизни не взглянет на милиционера-художника.

Но и на художника-немилиционера, то есть на Орлова, ей смотреть не хотелось: ведь он сам, по собственной воле ушёл из её сердца. А меня и Петюшку она давно уж видеть не могла.

Некоторое время Клара раздумывала, на кого из присутствующих могла бы она посмотреть, и поняла, что смотреть не на кого. В глупое, неприятное положение попала девушка Клара Курбе – сидела за общим столом и ни на кого не могла смотреть. Вокруг же разместились четыре совершенно рухнувших в её глазах человека.

Милиционер-художник прервал свой смех, вытер губы носовым платком. Отвага и безумие шевельнулись в его глазах.

Бедняга-милиционер-Шура-художник-любитель решился на отчаянный шаг.

– Если б у меня была лодка, – тихо сказал он, – если б у меня была лодка, самая лёгкая и самая лучшая в мире, я бы назвал её «Клара».

Глава XVII. Самое лёгкое название в мире (Окончание)

Я и теперь, через несколько лет, часто задумываюсь: какое же слово, какое название самое лёгкое в мире? То вспоминаю я милицейскую «Ласточку», то Петюшкину «Пену», то снова придумываю:

«Пыль»,
«Печаль»,
«Тень»,
«Рассвет».

Но ни на одном слове я никогда не могу остановиться. То кажется мне слово недостаточно лёгким, то не очень чистым, то совсем уж не лодочным. Где взять, как выбрать из миллионов слов самое лёгкое?

И «пыль», и «печаль», и «тень», и «рассвет» – все эти слова беспокоят меня, и я не понимаю: что же лучше, что легче – пыль или печаль?

Конечно, все эти слова не очень-то лодочны. Хотелось бы услышать наконец настоящее лодочное слово!

Но лодочное слово – это «весло». Настоящим лодочным словом лодку не назовёшь. Чего тогда мучиться, что выбирать? Не взять ли первое, что пришло в голову? Так и сделал милиционер-художник. Он сказал «Клара», и это слово действительно было для него самым лёгким в мире.

Но после того, как милиционер сказал своё слово, в комнате стало тяжело. Все немного задохнулись, почувствовали тяжесть на плечах. Керосиновые лампы потускнели, начали коптить.

Я подошёл к окну, открыл форточку.

За окном увидел я деревья, заваленные сизым снегом, оранжевые окна соседнего дома, человека с собакой, который вышел прогуляться перед сном.

С неба падали большие мартовские снежинки. Это был, наверно, последний снег нынешней зимы, пахло от него по-весеннему.

Я подумал, что скоро, очень скоро вскроются реки и на своей лодке – самой лёгкой в мире – я отправлюсь в плавание. И плавание это будет весёлым и лёгким. Уж если лодка самая лёгкая, пускай и плавание станет самым лёгким в мире. По маленьким рекам, по тихим озёрам, по лесным ручьям.

Жаль, конечно, что капитан лодки не самый лёгкий в мире. Есть на свете люди куда легче меня. Но, в конце концов, на всю эту невообразимую лёгкость должно же быть хоть что-то тяжёлое.

Запах недалёкой весны развеселил и обрадовал меня. Он разогнал коричневый керосиновый туман, все вздохнули полегче. Только милиционер-художник сидел, чуть дыша. Горло его перехватило, лицо сделалось неподвижным. Он явно не знал, что же теперь делать: ведь только что на виду у всех он признался в любви к девушке Кларе Курбе.

Клара Курбе, чьим именем собирался Шура назвать своё судно, упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу её ясно было, что она свою лодку «Шурой» не назовёт.

– Может, назвать лодку «Снежинка»? – сказал я, жалея милиционера. – Лёгкая, по небу летает.

– Назови лучше «Стратостат», – сказал Орлов.

Грубоватая шутка Орлова никого не развеселила. Интерес к лёгким названиям угасал вместе с керосиновыми лампами. А лодка моя, безымянная, лежала на полу, в тени. Сама-то она знала, как её звать, да сказать не могла. И тут вдруг я увидел, что лодке здесь, в мастерской, неуютно. Она и вправду никак не соединялась с граммофоном, и все эти разговоры насчёт названия ей неприятны. Боком, боком, бортиком отгораживалась она от людей, сидящих за столом. Она терпела всё это только из-за меня.

– Послушайте! – сказал вдруг милиционер-влюблённый и показал на меня пальцем. – Его лодка, пусть сам и название придумает. Мы стараемся, лезем из кожи, а он только «Снежинку» придумал. Сразу видно, что в голове пусто.

Владелец граммофона был прав. Ничего лёгкого не приходило мне на ум. Только где-то на краю сознания мерцало слово «пузырёк». Но соваться с «пузырьком» я не решался.

– Я потом придумаю название, – миролюбиво сказал я.

– Ну уж нет, – возразил милиционер. – Придумывай сейчас, чтоб мы все знали, на что ты способен.

Я заволновался, сжал зубы, тряхнул головой, чтоб шевельнулись мозги, но они тупо стояли на месте. От этой тряски на том же краю сознания, где мерцал «пузырёк», возникло только странное, хоть и лёгкое, словечко «тюль».

– Подумай о пухе, – сказал Орлов. – Всё-таки «пух» – самое лёгкое.

«Глупое название „Пух“, – подумал я. – Но как лёгок тополиный пух, летящий над городом! А пух одуванчика над полем! Дунешь – и летят по небу светлые пушинки».

– Давай, давай, – подгонял меня Шура. – Придумывай скорей или сдавайся!

– Я придумал, – сказал я. – Лодка называется «Одуванчик».

И тут холодный пот прошиб меня.

«Глупо, глупо! – думал я. – Слишком нежно, слишком красиво!»

И всё-таки в этом что-то есть.

Трудно из миллионов слов выбрать одно-единственное, а если выбрал – держись!

– Лодка называется «Одуванчик», – повторил я и окончательно понял, что лодка – моя и это наше с нею дело, как мы назовём друг друга.

А чего такого плохого в слове «одуванчик»?

Одуванчик – самое простое, что есть на земле. В небе – воробей, в реке – пескарь, на лугу – одуванчик.

Есть люди, которые одуванчиков не замечают, не ставят их в букеты, не вяжут венков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их можно рвать сколько угодно, и никто не заругает. А можно сунуть в рот горький стебель и быстро проболтать:

«Колдуй,
баба,
колдуй,
дед,
заколдованный билет!» —
и стебель одуванчика заколдуются, завьётся завитушками, как хвост
тетерева-косача.
В одуванчике есть воздух – оooooooooooooooooo...
В нём смешно дует ветер – дуууууууууууу...
В нём кричит лягушка – ввваааааааааа...
А потом пора уж и тормозить – нnnnnnnnnnn...
И как ножиком отрезать в самом конце – чик.

И это весёлое «чик» особенно подходит к моей лодке, самой лёгкой в мире.

Одуванчик похож на человека. Голова-то круглая.

Не пойму, почему только старых людей называют «божьи одуванчики». По-моему, мы одуванчики с самого начала, а к старости становимся «божьими».

Я глянул на лодку, самую лёгкую в мире, – довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с чёрною шнуровкой на корме, – так не похожа была она на одуванчик, но я видел, что она довольна мною.

Глава XVIII. Самая близкая речка в мире

Прошёл март, и в середине апреля я решил лодку испытать.

Ровно в шесть утра мы вышли из мастерской Орлова. Впереди, как лоцман, шагал милиционер Шура, следом мы с Орловым несли на плечах «Одуванчик». Мы двигались к Яузе – самой близкой речке в мире.

Милиционер Шура, стесняясь, нёс вёсла. Ему было неловко в полной форме переносить предметы, не имеющие отношения к прямым обязанностям. Мне же казалось, что вёсла в его руках похожи на какие-то почётные винтовки, они усиливали торжественность момента.

– А вдруг начальство заметит, что ты тут с вёслами бродишь? – пугал Шуру Орлов. – Что будешь делать?

– Скажет, что арестовал нас, – успокаивал я.

– А если здесь плавать запрещено? – не унимался Орлов. – Вдруг нас начнут штрафовать?

– Тогда Шура оштрафует нас первым, – объяснял я, – а потом штраф назад отдаст.

Милиционер-художник сердито оборачивался, делал строгое лицо, не отдающее назад никакого штрафа.

Выйдя на Серебряническую набережную, мы остановились. Далеко внизу, за чугунной решёткой, текла речка Яуза, окованная в гранит. Редкие чёрно-зелёные льдины плыли по коричневой воде, направляясь к Москве-реке.

– Самая грязная речка в мире, – сказал Орлов, печально оглядевши яузские берега. – Отложим испытание. Потеплеет – поедem на Клязьму, лодку-то хотя бы пожалей.

Я и сам понимал, что самой лёгкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Яузе. Мне было жалко её, но поделаться я ничего не мог. «Одуванчик» родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Яузу.

У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз, опустили лодку на воду. Яузская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Ослепительно блеснуло на ней серебряное платье «Одуванчика».

Давно-давно не видали яузские жители свободного корабля на её волнах. Иногда только бродят здесь катера «Озон» и «Орион», и снова пусто меж каменных берегов – чердаки да крыши отражаются в скучной городской воде.

Я достал из-за пазухи бутылку шампанского.

– Давай-ка я речь произнесу, – сказал Шура. Отделавшись от вёсел, он немного успокоился.

– Товарищи! – начал он. – Минуточку внимания! Сегодня мы опускаем к воде самую лёгкую лодку в мире. Холодными зимними ночами, в пургу доставали мы бамбук, не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи! Большому кораблю – большое плаванье!

Я хлопнул пробкой и обрызгал пеною нос «Одуванчика», все расцеловались.

Осторожно, держась за милиционера, сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести «Одуванчик» погрузился глубже, нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось туго серебряное платье, загудели бамбуковые рёбра, звонко скрипнули шпангоуты-полумесяцы.

Удивительным оказалось, что сижу я очень низко, прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до яузской волны, но сделать это не решался – грязная, сточная, мёртвая. Пересялив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, стряхнул с пальцев холодные капли и взял весло.

– Пошёл! – крикнул Орлов, и я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега.

Силу толчка я не рассчитал, и «Одуванчик» буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком – бум-бум-бум – ударили волны в дно лодки. Я гребанул слева – нос резко повернул вправо, гребанул справа – «Одуванчик» выровнялся. Только два раза и ударил я веслом, а лодка уже летела стремительно вперёд, и я не знал, как её затормозить.

– Осторожно! – кричал сзади и сверху Орлов. И он, и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся обернуться.

– Надо было верёвку взять! – выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать «Одуванчик», то ли вытягивать меня, уже утонувшего.

Кое-как взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца, передо мною уплывала в Москву-реку тёмная обтаявшая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона.

– Оглянись! – кричал мне Орлов. – Это последняя льдина!

Я оглянулся – за нами не было видно ни одной льдины. Хотя и мутная, а свободная от зимы вода.

А над нами, над гранитными стенами, виднелись маленькие человеческие головки – бородастая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далёкими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через двадцать снова увижу их, когда вылезу на берег, и всё же казалось – уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома.

Последнюю льдину я обгонять не стал. Положил весло, течение неторопливо повлекло лодку.

«Неужели совсем, навеки мертва эта отравленная городская река? Неужели умерла навсегда?»

И вдруг прямо перед нами из-под носа «Одуванчика» поднялись с воды две утки. Это были чирки-трескунки – уточка с синим зеркалом на крыле и селезнёк с буйной зелёной головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть. Они не боялись мёртвой воды.

Потрескивая, полетели чирки перед нами, из гранитного колодца выбираясь к небу. Я глядел им вслед – и над высотными домами, ещё выше, ещё глубже в небе, увидел летящих на север журавлей.

Глава XIX. Ловля Орлова на граммофонную удочку

В детстве я проделывал зимой такую штуку: наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтоб он скорей растаял, чтоб скорее пришла весна. Хотелось помочь весне: уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лёд на озёрах, пригнать на поля грачей.

Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой, жду.

Скоро раскрываются почки, а весны всё нет.

А когда наконец приходит она, вянут на столе тополиные листья, жалко становится их, и думаешь: куда торопился, только ветку испортил.

И всё-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя, чтоб скорее увидеть зелёный лист, чтоб поторопить весну.

Пришла весна, и я стал готовиться в плаванье. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далёкое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плаванья нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек – художник Орлов.

Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но всё-таки ещё раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить. И я пошёл в мастерскую.

На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары, зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменял его у милиционера на канделябр.

Подперев руками щёки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает.

– А магнитофон? – спрашивал наивный фотограф. – Неужели и он хуже?

– В десятки раз! – наваливался Орлов. – У магнитофона звук – дуб!

– Но граммофон слишком тихо играет, – сомневался фотограф.

– Магнитофон – гроб! – ввязался я, чтоб поддержать Орлова. – А у граммофона не звук, а воздух! Шумы залива!

Орлов обрадовался поддержке, и тут я понял, что судьба посылает мне подарок: кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку.

Объединившись, вдвоём с Орловым ловкими ударами справа и слева мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон.

– А что бы ты стал фотографировать? – коварно спросил я. – Магнитофон или граммофон?

– Магнитофон, – сжавши зубы, ответил фотограф.

– Фотографировать магнитофоны – глупость, – сказал я. – Куда лучше фотографировать дальние озёра, невиданных рыб и зверей и вообще места, по которым не ступала нога человека.

– Таких мест уже на свете нет, – сказал профессионал, твёрдо держась за магнитофонную линию.

– Мало, – поправил его я, – но всё-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что.

– Конечно знаем, – сказал Орлов, сам не понимая, что клюёт потихоньку на мою удочку, и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души.

– Есть на свете Багровое озеро, – сказал я. – На нём никто не бывал уже лет двести.

– Почему же? – спросил фотограф.

– Он не знает почему! – усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем.

Между тем Орлов и сам не знал, о чём идёт речь, но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно нападал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона.

– Дело, в общем-то, простое, – сказал я. – Давно, наверно лет двести назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем.

– Это как же? – спросил фотограф.

– Уж это мы знаем как! – засмеялся я, подмигивая Орлову.

Орлов хотя и с сомнением, но клюнул молча на мою удочку.

– Уж мы-то с Орловым проберёмся, – сказал я, решивши, что пора уж подсекать мою рыбину и усаживать получше на крючок.

– Ага, – сказал Орлов.

– Дело в том, – продолжал я, – что Багровое озеро связано с другим озером – Сиверским. От Сиверского ведёт к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке.

– Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?

– Приходила, – усмехнулся я. – Но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка, заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти, во всяком случае попробуем.

– Как?!

– Очень просто. У нас есть «Одуванчик» – самая лёгкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку.

Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил.

Как огромный и мудрый брадоусый голавль, смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого, опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег.

Последний шанс остался у голавля – ударить хвостом, разорвать леску. И он напрягся, собираясь сделать это немедленно.

Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что голавль сорвётся, если не уложить его поскорей в подсачок. И я ловко подвёл подсачок под чудесную бородатую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег.

– Кстати, – сказал я, – по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так и называется – Керосиновка.

Оказавшись на берегу, голавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, разевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры.

Фотограф-профессионал никакого такого голавля не заметил.

– А сколько человек влезает в «Одуванчик»? – спросил он.

Я стал рассказывать про лодку, а голавль мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью.

– Да, – вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением. – Вот это путешествие!

– Это тебе не магнитофоны слушать, – сказал я, чтоб повеселить голавлишку, чтоб ему было поуютней на берегу. – Это плавание для людей граммофонных, для подлинных ценителей керосиновых ламп.

– А когда вы отплываете?

– Пожалуй, через недельку, – ответил я, оборачиваясь к своему голавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал голавлишко, только пучил глаза из травы.

– Может, меня возьмёте? – робко попросил Глазков.

– Ну уж нет, – засмеялся я, – лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов?

– Да что ты привязался к этому магнитофону? – примирительно сказал фотограф. – Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная.

– А какая же? – смеялся я.

– Может, патефонная, кто её разберёт.

– Ты слышишь? – хлопнул я по плечу голавля. – Слышишь, как он заговорил?

– Слышу, – глухо ответил Орлов, – но только не слишком ли ты торопишься?

– Надо спешить, – ответил я, – позже на озеро не пробраться. Протока так зарастёт травой, что её не найти.

– Ну что ж, – сказал Орлов, – плыви когда хочешь, а на меня не рассчитывай.

– Как то есть?

– Я не плыву, остаюсь в Москве.

Серая муть объявилась в моих глазах, и за этой мутью я увидел, как голавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошёл обратно в реку.

– Стой! – крикнул я. – Стой! Останься на берегу!

– Я и остаюсь на берегу. Это ты плывёшь, – сказал голавль и спокойно прыгнул с берега в воду.

И тут треснуло сердце старого рыбака – уже ни удочка, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс – с ходу, в одежде, в сапогах и телогрейке, прыгать в воду за голавлём и схватить всё-таки его за хвост. И я прыгнул, вытянув руки.

– Почему ты не хочешь плыть со мной?

– Мне некогда. Работать надо. Заказ сдавать.

– Но лампы, керосиновые лампы! Знаешь, сколько их стоит там, на далёких берегах! Клянусь, найдём и граммофоны!

– При чём здесь граммофоны? Работать надо.

– Да, – сказал я, глядя Орлову прямо в глаза, – я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю – почему? И лодку мы строили вместе, и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плавание, подожду, пока ты сдашь заказ.

– Не жди, отправляйся. Ты и так уже долго ждёшь.

– Значит, бросаешь меня?

– Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывёшь.

Горькая и ужасная обида вошла в моё сердце, я понял, что сделать ничего не могу, надо сматывать удочки, уплывать потихоньку домой.

– Да возьми ты с собой фотографа, – сказал Орлов. – Видишь, он рвётся в плавание, и душа у него вроде бы граммофонная.

Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого.

Глава XX. Последний торт

Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно: лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе.

Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что сверху.

Вроде бы надо сунуть вниз сапоги – до болот доберёмся ещё не скоро, сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съесть её в первый день, можно купить на станции пирожков. Значит, колбаса снизу, сапоги сверху. Но ведь пирожков на станции может не оказаться – где ж тогда быть колбасе?

– Да сунь ты её в сапоги, – сказал фотограф-профессионал.

В огромнейших и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправлялся со мной в плавание.

С трудом, с трудом согласился я взять его с собой.

Мне казалось, что душа у него всё-таки сильно магнитофонная, и чёрт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озёрах и увязать в болотах.

Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен всё-таки товарищ – помощник, напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чаю попить на берегу, и уши похлебать.

Фотограф очень просился в плавание, и я в конце концов согласился.

Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удовольствию, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому – «рябчик».

– Рябчик – штука в плавание необходимая, – объяснял он мне, – рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты-то берёшь рябчика?

Беру ли я рябчика? Я, не снимающий тельняшку с самого рождения?

– Рябчик – это птица, – буркнул я, мучаясь с колбасой. – И в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков. Не спутай их с тельняшкой.

Наши сборы и суэта вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом и, хотя давно получил трёшку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги.

Раздался звонок – в комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский.

– Шайка потихоньку собирается? – спросил у меня Петрович.

Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок – появилась внезапная Клара Курбе, а за нею – милиционер-художник.

При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнётся стрельба, отбор колбасы и задержание преступников.

Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стол. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты.

Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не сообщай ни о чём, умоляю». Специально, чтоб поугубить Петровича, я строил Шуре сообщающую рожу.

– Это ты пригласил Клару? – потихоньку спросил меня Орлов.

– Да нет.

– Сама явилась, – сказал Орлов и поморщился.

Это орловское поморщиванье было мне непонятно. Вроде раньше он особенно не морщился при виде Клары. Непонятно было, откуда Клара взялась у Петровича – ведь она никогда в жизни не знала моего адреса, не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали – а откуда? И почему Клара пришла с милиционером?

В суматохе сборов спрашивать об этом было как-то неловко.

Клара между тем была сегодня какой-то необычной, я бы даже сказал – необыкновенной. Она как-то стеснялась, пряталась за милиционера, и в руках у неё была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не соображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне, и я на всякий случай отошёл к лодке.

Клара водрузила коробку на стол.

Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно-розовая толстая роза.

Фотограф взялся заваривать чай, а Клара – резать розу.

Стали пить чай с Клариным тортом. Милиция, как я и полагал, навалилась на розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок.

Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал о Багровом озере, о лёгкости «Одуванчика».

– Слушай, – сказал Петюшка, втянув остатки розы, – а кто у вас капитан?

– Что такое? – не понял я. – Какой капитан?

От кого от кого, но от Петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан – я. Я строил лодку, задумывал плавание, всё организовал – так кто же капитан?

– Он, – сказал фотограф и показал на меня пальцем.

– По-моему, он безрассуден, – сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолюбивым языком. – Он не годится в капитаны.

Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит Шуре, но все молчали, а Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к её розе.

– Но ведь он построил лодку, – сказал фотограф, – значит, он – капитан.

– Не важно, кто что строил, – сказал милиционер, – важно, чтоб плавание прошло удачно.

– Слушай, – сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня, – а зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плавание задумал, вот и плыви себе. А капитаном пусть будет фотограф, надо же и ему за что-то отвечать.

– Да какой из фотографа капитан! – возмутился наконец Орлов. – Он и весло-то держать не умеет, не знает, где север, где юг. Тоже мне, нашли капитана.

– Почему же это из меня не выйдет капитан? – замедленно вдруг произнёс фотограф. – Кто сказал, что я не знаю, где норд, а где зюйд? Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба?

Фотограф-профессионал неожиданно взволновался, губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его, поближе к локтю, мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь.

Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и уставился обиженно в торт.

– У краба десять ног, – сказала Клара. – Но дело не в этом, дело в успехе плавания. Я предлагаю проголосовать.

– Проголосуем? – спросил и милиционер-художник.

За меня проголосовали Орлов и фотограф, а за фотографа – все остальные, и даже Петрович махал у шкафа лапой. Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал: да зачем тебе быть капитаном? Брось ты это.

И я понял, что Петюшка прав. Главное – плыть куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул – капитан-фотограф.

Но с Петровичем я решил разделаться немедленно, раз и навсегда.

– Нам пора в дорогу, – сказал я, вставая. – У меня осталась единственная просьба: пускай Орлов заберёт мою раскладушку. К Петровичу я больше не вернусь.

Часть вторая

Глава I. Опасайтесь лысых и усатых

– Вы ещё не проснулись? Проснулись вы или нет?

Кажется, я ещё не проснулся.

– Неужели вы спите? А вид такой, будто вы проснулись.

Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал: начну спорить – сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что ещё не проснулся.

– Жалко, очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно, и всё.

Я просто не знал, как быть – просыпаться или нет. Пожалуй, надо было не валять дурака, а просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид.

Но как это сделать? Глупо подсказывать и орать – дескать, я проснулся. А как ещё показать, что это свершилось, я не мог сообразить, потому что всё-таки проснулся не до конца.

– Ладно. Вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза, покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать.

Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в чёрном платке, который окутывал голову и плечи, из платка выглядывал кривой колдовской нос.

Над головою старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа, и я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего «Одуванчик» из Москвы.

– А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте...

Кажется, надо было и вправду закрывать только что открытое. Неловко пялить глаза, если их просят закрыть, и я покорно сомкнул веки.

– Вот молодец. Хорошо. А теперь слушайте. Я хочу вас предупредить, а то умрёте и сами не узнаете от чего. Главное – берегитесь Волны!

Мне захотелось немедленно открыть глаза, но я удержался.

– Я вам всё расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься Волны. В ней всё дело. Вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы всё поняли.

Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи.

– Волна эта чрезвычайно опасна, – говорила старуха, наклоняясь ко мне. – Её распространяют лысые и усатые. Они знают секрет.

– Какая волна? – собравшись с силами, сказал я.

– Лучевая, – пояснила старуха. – Её распространяют лысые и усатые. Вы поняли?

Кажется, я всё понял. Старуха была с приветом и сейчас пыталась передать мне этот привет.

– Только лысые и усатые знают секрет Волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять Волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять Волну?

– Что? – спросил я.

– Отойти, просто отойти в сторону. А потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать: «Я знаю!» Чтоб он понял, что вы знаете про Волну. Или ещё есть средство, очень верное.

– Какое? – спросил я.

– А что вы делаете, если обожжётесь? Какое есть народное средство?

– Слюна? – предположил я.

– Умница! Вот именно, слюна! Надо помазать поражённое место слюной! Какая умница! Какое осмысленное, проснувшееся лицо!

Почему-то моя догадливость насчёт слюны очень понравилась старухе, и она расхваливала меня, шарила глазами по купе в поисках человека, который тоже мог бы одобрить такую мою смекалку. Но подходящего человека не было. Фотограф-профессионал спал, равнодушный к Волне, слюне и моей сметливости.

– И ещё я скажу вам: берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши.

– Как это?

– Разве вы не слышали, что уши – вместилище разума?

– Не слышал.

– Как же так? Ведь всё проходит в мозг через уши! Именно уши – вместилище разума.

– Так говорили древние греки, – послышался голос, и капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду.

– Вот это умница! – воскликнула старуха. – Вот умница так умница!

Мудрые слова капитана-фотографа поразили её, и она восклицала, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной.

– А как же глаза? – спросил я. – Глаза-то что ж такое?

– Глаза – это источалище разума, – пояснила старуха. – Они разум источают, а уши – вместилище.

– А нос-то небось чихалище? – спросил капитан.

– Нос и глаза сами за себя постоят, – усмехнулась старуха. – А вы берегите уши. Не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг.

– А как быть с боролатыми? – спросил я, намекая на капитана-фотографа. – Бородатые тоже опасны?

– Ну нет, бородатые – совсем другое дело. Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы... Вы никогда не носили усов?

Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос, и под носом сразу зачесалось, стало неловко.

– Да вроде не носил.

– Вы меня обманываете.

– Не носил я усов, – твёрдо сказал я, хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота.

– Как же так! – воскликнул капитан-фотограф. – Ведь ты отращивал усы! На кота-то был ещё похож!

– Это я так, баловался. И носил их всего две недели.

– За две недели Волну не сделаешь, – сказала старуха. – И всё-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать Волну?

– Что вам надо?! – сказал я, начиная раздражаться. – Усы я давно сбрил и Волну делать не умею. Отстаньте!

– А по-моему, ты умеешь делать Волну! – сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха с приветом.

– Настоящую Волну ему не сделать, – сказала колдунья. – А маленькую, незаметную он сделать может. Такая Волна самая противная. Она по-настоящему не убьёт, а нервы попортит.

Капитан глупо засмеялся на верхней полке, старуха же без тени улыбки глядела мне под нос.

– Да, бабушка, – смеялся фотограф, – это вы верно сказали. Такая Волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах.

Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана:

– А ты, парень, что-то уж больно развеселился, а ведь едешь и сам не знаешь куда. Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждёт.

– Может, вы нам скажете? – прищурился капитан.

– Сами скоро узнаете! – каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. – Но один из вас домой не вернётся.

Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали, но, когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился.

– Выйдите отсюда! – сказал я, подымаясь.

– Уехали двое, потом вас будет четверо. А всё равно один домой не вернётся. Только не знаю кто.

– Выходи, тётка, – сказал я, – а то сейчас Волну сделаю!

– Мало каши ел, – сказала старуха, презрительно подымаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки.

– Гадалка, что ли? – спросил он, натягивая брюки.

Поезд между тем приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные вёглы гнулись под порывами ветра.

Мы сошли с поезда и по хлюпающей, разваленной тракторами дороге отправились к Сиверскому озеру.

Болтовня старухи, ветер и дождь – это было не слишком удачное начало плавания, и всё же счастье испытывал я. До чего надоел город с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары Курбе и милиционеры-художники.

Под дождём на берегу Сиверского озера мы стали собирать «Одуванчик», и я всё вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый.

Усатых набралось не много, лысых и того меньше. Но мой ближайший друг художник Орлов, как ни крути, был всё-таки лысоватый.

Глава II. Дождь в коровьем заливе

Дождь не переставал. Он то моросил тоскливо, то начинал отчаянно хлестать, то прощально шелестел в кустах, обещая скоро кончиться, но не кончался, а придумывал что-нибудь новое, например падение капель сразу со всех сторон.

Я заметил, что меня дождь старается промочить сильнее, чем капитана. Профессио-
налу-фотографу удалось увернуться, он нашёл с дождём общий язык, я же ругал дождь на
все корки.

Комары летали между каплями дождя и ныли: «Нnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...»

И с комарами капитан-фотограф быстро поладил. Изредка только похлопывал он себя по щеке, укоряя комаров этими ласковыми шлепками.

Берега Сиверского озера заросли чёрным ольшаником, продираться через который к воде было неприятно. Капитан облазил заросли и нашёл заливчик, где можно было спустить «Одунанчик» на воду. Берег здесь был истоптан коровами – тысячи копыт отпечатались в чёрной и жидкой грязи.

И дно у берега оказалось топким, вязким, илистым. Пока мы спускали лодку, со дна поднялась такая муть, что трудно было разобрать, где вода, где берег. Всё вокруг и даже небо над озером казалось беспросветной коровьей жижей.

Я торопился отплыть скорее. Я знал, что, как только мы поплывём, сразу начнётся новая жизнь и где-то там, впереди, за дальним берегом, там и комаров меньше, и дождь уже перестал.

Огорчали рюкзаки. Продуктов мы взяли не много, рассчитывая на уху, а всё же рюкзаки получились огромными. Они были похожи на двух зелёных свиней с карманами. Рюкзаки

заки сильно подпортили внешний вид «Одуванчика». Стремительная лодка походила теперь на ласточку, к которой приделали верблюжьи горбы.

– Балласт, – говорил капитан, пиная рюкзаки кулаками. – Загружай ими корму. Лодка будет остойчивей.

Я послушно перетаскивал рюкзаки с места на место, а капитан разводил руками, повторяя одно слово:

– Балласт.

Как-то незаметно он и вправду взял в руки капитанскую власть. Он командовал, а я перекладывал.

Из пелены дождя на берег вышла корова. Она остановилась в двух шагах от лодки и стала разглядывать нас.

– Куда? – закричал капитан, пугая корову удочкой.

Не разевая своей мокрой и жующей бегемотской пасти, корова заревела:
«Ммммммммммммммммммммм...»

«Нинининининининининининининининининин...» – поддержали комары.

– Садись же скорей! – кричал я капитану, который всё мыкался по берегу.

Подымая со дна волны муты, капитан взобрался в лодку. «Одуванчик» шатался и приседал под невиданным грузом.

— Руби концы! — скомандовал капитан, и я взял весло.

За первой коровой на берег вышла вторая, а за нею и всё стадо. Обмахивая нас хвостами, коровы одна за другой входили в воду, и скоро весь залив был заполнен коровами. Капитан пугал их удочкой, но тупо глядели они на фотографа-профессионала и всасывали озеро, утоляя свою непомерную коровью жажду.

Я оттолкнулся веслом от берега, и «Одуванчик» отправился наконец в плавание... Увидев нас плывущими, какая-то комолая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже всё стадо ревело в нашу честь, и под этот рёв, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из Коровьего залива на Большую воду.

Неуютно оказалось на Большой воде. Здесь бродили холодные волны. Серый северный ветер заворачивал нос «Одуванчика», а дождь хлестал сильнее и казался мокрее.

Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного гребка – и лодка пойдёт ко дну.

– Мы перегружены, – сообщил с носа фотокапитан. – Надо бы высадить кого-нибудь на берег. «Одуванчику» будет легче.

— Кого это — кого-нибудь?

– Ну, кого-нибудь из нас. Или меня, или тебя.

— Как это — высадить меня?

– Ты меня не понял. Я сказал: высадить временно. Понимаешь? Временно, пока не уляжется волна. А потом снова всадить. Один пока бы вёл лодку, а другой по берегу прошёлся. Понимаешь?

– Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно руками не махай. Высаживайся на берег сам. Понимаешь?

Капитан не ответил, и вопрос этот угас.

Впрочем, и до берегов-то было уже далеко.

Хоть и грёб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими Кларами и милиционерами-художниками ещё дальше.

Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки.

«Одуванчик» понял, что мы перепугались, и старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных. Он был терпелив и покорен, как Конёк-горбунок.

Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку. Но «Одуванчик» сам летел вперёд, а я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей.

Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но «Одуванчик» легко взлетал на её вершину, а я хлопал волну веслом по спине – катись дальше!

Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но «Одуванчик» увёртывался, и я хлопал волну по спине – катись дальше!

Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нём ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе.

Здесь и вправду дождик уже перестал.

Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верховом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек – большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул:

– Эй, на катере! Спичек нету?

– Разве ж это катер? – сказал я, подгребая к берегу. – Это лодка, самая лёгкая в мире. Назвал бы ещё баржей.

Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзённый молнией. Вокруг черепа вилась надпись:

«Не влезай – убьёт!»

Глава III. Череп, разбитый молнией

Привязав нос «Одуванчика» к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником, как он сказал:

– Трава сырая. На вот, подстели.

Из чёрной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай – убьёт!» и протянул мне. Потом достал ещё одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай – убьёт!».

Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твёрдую, как лодочное весло, руку.

– Натолий, – сказал он.

Почтительно пожавши весло, мы познакомились, закурили. Натолий внимательно разглядывал нас.

– Веслаетесь? – спросил он, начиная разговор...

– Веслаемся, – согласился я. – Вёслами гребём...

– А я обколачиваю, – сказал Натолий. – Да вот погода сегодня...

Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода никуда, и я невольно подумал, что странная собралась на берегу компания – двое веслаются, один обколачивает.

– А что вы обколачиваете? – спросил капитан.

– Столбы, чего же ещё. Вон табличками с черепушкой. – И Натолий кивнул на то, на чём мы сидели.

– Это специальность у вас такая – обколачивать?

– Специальность у нас монтёр. Вначале столбы ставим, потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем. Не влезай, мол, на столб, а то током дёрнет.

– Неужели на каждый столб табличка? – спросил капитан.

– Через раз, – пояснил Натолий. – На первом столбу он прочтёт – на второй уже не полезет. Ну а пока до третьего дойдёт, может и позабыть, что написано. Возьмёт да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем.

- Да неужели есть такие люди, которые на столбы лазят? – наивно спросил капитан.
- Бывают.
- Да чего ему там делать-то, на столбе?
- А ничего, – сказал Натолий. – Залезет и сидит.

Капитан искоса глянул на столбы, стоящие вдоль берега, – не сидит ли кто? Но пусто было на столбах, только на пятом или шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на неё, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером.

- Сами-то нездешние, что ли? – спросил Натолий.
- Из Москвы.

– То-то я гляжу – нездешние плывут. Вид у вас, что ли, такой, нездешний?

– Вид, наверно, – согласился я и глянул искоса на капитана. Ничего, абсолютно ничего здешнего не было в его виде. И взгляд какой-то нездешний, и вельветовые неуместные брюки. Да и откуда, скажите на милость, возьмётся у здешнего человека такая тупорылая борода?

А сам-то я, наверно, ещё более нездешний, чем капитан. А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот уж нет, в Москве я совершенно нездешний, нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда – и опять нездешний. Тьфу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.